# Картины

# Туве Марика Янссон

Селение Юттерсбю располагалось на самом краю равнины. Почта приходила туда три раза в неделю, и отец Виктора подписывал отправленные заказным письма и посылки, если таковые имелись, и складывал всё на столе веранды, где местные жители сами отбирали свои письма и газеты, когда проходили мимо.

Однажды, в самом начале ноября, почтальон доставил заказное письмо, где сообщалось о том, что Виктор получил стипендию.

Вечером того же дня отец отметил в своей тетради дату получения письма, а также следующие факты: «После окончания курсов заочного обучения и участия в выставке „Молодые“, проходившей в столице, а также благодаря отзыву Комитета по искусству мой сын Виктор приглашен в зарубежную поездку с оплатой дороги туда и обратно и предоставлением права в течение семи недель пользоваться собственной мастерской. Виктор первым прочитал это письмо, а затем я».

Отец отложил тетрадь в сторону. Через некоторое время он снова достал ее и продолжал торопливо записывать: «Дорогой сын, дорогой, вечно хранящий молчание сын! Как видишь, в этой тетради я весьма обстоятельно с того времени, как тебе исполнился год, отмечал все, что с тобой происходило, как, предполагаю, записывала бы и твоя мама, если бы она не умерла, д. п. о. в. м. (да покоится она в мире). Итак, я отмечал твое более или менее сложное развитие (а какое развитие не бывает сложным), но теперь, особенно после того, как прислали это письмо, я позволю себе известную пышность фраз. То есть хочу сказать: я говорю то, что думаю; я люблю тебя, но я так устал от твоей неприступности и от твоих картин, которые ты так ревниво оберегаешь... Твое молчание лишено великодушия».

Отец замешкался, он перечеркнул написанное и снопа продолжил: «...Я никогда не спрашивал тебя, да и ты никогда меня не спрашиваешь, почему-то не задаешь вопросов, получается так, что обилие слов делает тебя молчаливым... во всяком случае, ты бы мог сказать, например: „Папа, ваши ужасы и страхи на самом деле не существуют, вы просто внушаете их себе“, а я мог бы спокойно и обстоятельно защитить себя и сказать: поверь мне, они существуют... Ты никогда не видел химеру, другое лицо, что скрывается за твоим собственным, в зеркале, уродливый оскал твоей совести, нет, конечно же, ты не видел... Люди думают, будто я весельчак, они никогда не слышали тех самых шагов, что следуют за человеком, шагов, что останавливаются, когда останавливаешься ты, и снова следуют за тобой... Ты стыдишься меня? Ты, который у всех под рукой, ты, что помогаешь людям в их заурядных занятиях, пока они сидят в своих глупых курятниках!.. Но погоди! Теперь все пойдет иначе, мы освобождаемся».

Он вырвал целую страницу и воскликнул:

— Виктор! Иди сюда! Иди сюда! Я хочу поговорить с тобой!

Он разглядывал своего сына: да, они были похожи друг на друга: широкие брови, светлые глаза, неопределенно очерченный рот. Только волосы у сына были мамины — черные.

Отец сообщил — с прямым вызовом:

— Они следовали за мной всю дорогу, пока я шел домой, но я не обращал на них внимания. Это рассердило их. Один из них летел совсем близко от земли. Он наблюдал за моим сыном, наблюдал внимательно и думал: я дурачу тебя или себя самого, безразлично — только ничего не говори! Ты, черт побери, освободишься от всего этого, но ты мог бы, по крайней мере, возразить или согласиться с тем, что я видел, что я знаю этих преследователей. — И, не ожидая ответа, он продолжил: — Я хочу видеть твои картины, я хочу теперь же смотреть на них, и смотреть долго.

Виктор ответил:

— Начинает темнеть, вы ничего не увидите!

— Темнота! — воскликнул папа. — Темнота, полумрак, сумерки, этого нам более чем достаточно там, куда нас угораздило попасть, и это как раз и есть то, что я хочу разглядеть в твоих картинах; если ты рисуешь равнину, или каравай хлеба, или несколько картофелин, то непременно на фоне этих самых проклятых сумерек, и почему ты рисуешь такие маленькие картинки, где изображена такая большая равнина? И все-таки твоя равнина кажется еще больше... Ну почему ты ничего не говоришь? Если мне будет позволено, я скажу, что караваи хлеба у тебя скучные. Не знаю, как вселить жизнь в каравай хлеба, но тебе, во всяком случае, это не удалось... Нет, не уходи, садись... Я критикую твои картины потому, что они очень хороши, но могли бы стать еще лучше... Почему бы не нарисовать какого-нибудь петуха в красном и желтом свете? Вокруг множество петухов, они чрезвычайно горластые, каждое утро кричат во все горло, ха-ха! Но тебе следовало бы и это облечь в сумерки. Я пойду лягу!

Он немного замешкался, но ничего не спросил; ему ответил Виктор:

— Я повсюду ставлю запоры. Сумерки не могут сюда проникнуть.

Когда стихло, Виктор вышел на двор; небо теперь было таким же темным, как равнина. Над самым горизонтом высилась небольшая золотистая лента заходящего солнца. Он подождал, и вот луч света показался в ночи, далеко-далеко! Это был поезд, который назывался «вечерний скорый», он никогда не останавливался. Местный поезд прибывал на рассвете и стоял едва ли две минуты.

Когда настала последняя ночь перед отъездом Виктора, его отец чувствовал себя таким усталым, что с трудом поворачивался в кровати и спрашивал:

— Ты все взял с собой? — и тут же засыпал снова.

Было ветрено, и ветер дул, как обычно, прямо с равнины. Свет на куриных фермах еще не зажигали. Виктор поставил чемодан на перрон. Было очень холодно. Темная голубизна ночи начала сменяться серостью. Никогда не знаешь: иногда поезд приходил слишком рано, случалось, что машинист даже проезжал мимо.

Тут запел первый петух. И Виктор увидел, что подходит поезд, долгая вереница светящихся окон, застывшая на месте. Поезд остановился на общинном выгоне, на дальних путях от перрона. Виктор схватил чемодан и помчался вдоль рельсов; он не видел, но почувствовал, что поезд там, вдали, снова пустился в ход; добежав до первого вагона, Виктор вскочил на подножку, но, немного промахнувшись, ударился подбородком о железную ступеньку, черт... бросил чемодан в вагон, там было пусто. И тут поезд остановился там, где следовало, у перрона.

Поезд простоял слишком долго, минуты шли, на него никогда нельзя было положиться. Ранний рассвет отражался в реке, четко обрисовывая мост и что-то на мосту; машинист не дал сигнала, когда поезд снова пустился в ход; как раз в тот миг, когда вагон медленно скользил мимо, Виктор увидел своего отца, махавшего поднятыми вверх руками в знак торжественного прощания, а петухи все пели...

Мало-помалу Виктор добрался до дома, где художникам со всех концов мира полагалось трудиться каждому в отдельной мастерской в течение того времени, какое соответствовало его дарованию, для Виктора — семь недель. Дом был длиной в два квартала, довольно высокий. Просторный вестибюль был обнесен стеклянными стенами, снаружи двигались мимо — разбег за разбегом — потоки автомобилей; люди, казавшиеся с виду незнакомыми, сидели вокруг прозрачного стола в черных пластмассовых креслах, а за стойкой две молодые женщины стучали на пишущих машинках. Виктор поставил чемодан возле стойки и стал ждать. В шуме машин он различил странный шепчущий звук, похожий на стук падающих капель дождя, он не понимал, откуда тот шел. Виктор разложил свои документы, каждая бумага подписана, скреплена печатью и засвидетельствована. Все было в полном порядке. Но вот подошла она. Виктор протянул ей еще одну бумагу, на которой он на чужом языке попытался выразить свою благодарность и свою гордость... Она улыбнулась, как показалось, немного устало и дала ему заполнить бланк. Ее лицо было худеньким и заостренным, с огромными, подведенными черным глазами, она была одета в нарочито отталкивающем стиле, что считалось сексуальным в том сезоне. Виктор подумал, что ее одежда не скрывала бедности. Он не разобрался в этой анкете; широкая полоса текста, где непонятно что имелось в виду. Положив руку на бумагу, он посмотрел на женщину за стойкой. Она указала ему пустые строки в самом низу, и он написал свое имя, а она дала ему ключ. Все тот же шепчущий звук наполнял помещение, будто шум отдаленного водопада, без малейших изменений в силе и тональности. Он спросил:

— Что это?

И молодая женщина все подробно объяснила.

Лифт находился в другом конце вестибюля, Виктор последовал вместе со всеми, кому нужно было подняться наверх, внутрь набилось множество людей; лифт поднимался быстро и беззвучно, никто не произносил ни слова, изо всех сил они пытались не смотреть друг на друга. Вот и его этаж, двери раздвинулись, он вытолкнулся из лифта, не захватив с собой чемодан, а двери снова закрылись, он нажал на кнопки, на все сразу, но лифт обратно не вернулся. Ему следовало бы спрятать деньги на поясе или в мешочке на шее, для сохранности, все это было ужасно, и притом в первый же день... Он ринулся вверх по лестнице, чтобы поймать лифт, подстеречь его, и снова вниз, в вестибюль... он крикнул молодой женщине с подведенными глазами:

— Чемодан! Какое несчастье!

Она посмотрела на него, слегка пожав плечами... этот жест он позднее расценил скорее как знак симпатии, а не равнодушия. И тут пришел лифт, все так же битком набитый людьми, он ринулся туда, махнув на все рукой, протиснулся внутрь и рванул к себе чемодан... чемодан был на месте, цел и невредим... Он отшвырнул крышку, нашел деньги, нашел сразу... ему стало стыдно. Но, похоже, никто не обратил на него внимания, все разошлись — каждый в свою сторону, а новые пассажиры вошли, заполнили лифт и потом тоже исчезли.

Виктор устал, он чувствовал себя неважно. Взяв чемодан, он поднялся вверх по лестнице. Огромное здание по всей длине пересекали коридоры. Этаж за этажом длинные туннели с огороженными стеклом входами, направленными навстречу утреннему солнцу, двери с равными промежутками между ними, черные нумерованные двери по обе стороны коридора. На третьем этаже кто-то играл на пианино, снова и снова одну и ту же пьесу.

Виктор отыскал свою дверь — номер сто тридцать один, открыл ее ключом, который дала ему девушка в вестибюле, и плотно закрыл за собой. Он был дома, в тепле, звук отдаленного водопада слышался здесь сильнее. Он тихонько постоял, осматриваясь кругом; его мастерская, большой пустой четырехугольник, светло-серый. Стол, стул, кровать... серый, черный и коричневый — привычные ему цвета. Огромное окно, закрытое пластиком. И шепчущий голос падающей воды. Виктор ходил, прислушиваясь, по комнате, пока его руки не ощутили жаркого потока воздуха, что исходил от батарей под окном; Виктор был скрыт завесой жаркого воздуха, как будто под толщей воды где-то на краю света.

Чуть позднее явился некто, наверное вахтер, и оставил Виктору мольберт, очень большой и походивший на сдвоенный крест или на гильотину. Виктор поблагодарил его и показал на окно, он не помнил, как будет «открыть», но вахтер понял его и слегка пожал плечами, любезно выразив сожаление. Виктор подкатил мольберт к стене; ему показалось, что массивная конструкция была слишком нарочитой, она как будто подталкивала к чему-то, даже приказывала.

В вестибюле висела доска объявлений с именами интернов[[1]](#footnote-1), с указанием их страны и имен, ни одного соотечественника Виктора там не было. На полке со множеством мелких отделений хранилась поступившая почта. Его отец уже написал.

Мой любимый сын!

Откровенно говоря, так необычно писать тебе письма, но обещаю: это не будет повторяться часто. Перемены в твоей жизни по-настоящему грандиозны, это замечательно, но остерегайся советов и слов утешения и забудь то, что я говорил тебе о красном и желтом свете. Петухи — это просто глупость! Собственно говоря, ничего особенного я не могу тебе сообщить, во всяком случае ничего, что могло бы быть достойно твоего внимания, — я только надеюсь, что расстояние, которое нас теперь действительно разделяет, открывает нам новые неожиданные возможности.

Люди уже посылают друг другу рождественские открытки, а картинки, которые они выбирают, еще банальнее, нежели обычно.

Г. д. п. с. т! (Господь да пребудет с тобой!)

Твой папа

Одно смущало Виктора: то, что все эти счастливцы, которым позволено было творить в этом громадном здании, не имели ничего общего меж собой. Казалось, будто они избегают друг друга в лифте, в коридорах; они шмыгали в свои двери так, словно черт гнался за ними по пятам, и коридор снова был пуст... а вместе с тем ведь у них было нечто общее: своя собственная идея, которая была важнее всего. Ведь у них впереди было так много времени... разве не стоило им попытаться проводить время вместе? Он написал осторожное письмо отцу. Тот сразу же ответил:

Мой любимый сын!

Ты хочешь, чтоб тебя оставили в покое, и в то же время не прочь быть вместе с другими, так не бывает. Выбери что-нибудь одно, хотя, что бы ты ни выбрал, ты все равно остаешься в проигрыше, я знаю. Нынче ночью в моем кресле сидел Волк. Не думай, я не настолько любопытен, чтобы спрашивать, как продвигается твоя работа Вообще, я думаю, что можно позволить себе пренебречь ожиданиями, они лишь отравляют успех. Если ты на это способен, ты можешь немного пожонглировать своей независимостью... если ты понимаешь, что я имею в виду...

Г. д. п. с. т. и так далее.

Все окна в этом громадном доме были закрыты жалюзи, по крайней мере на той стороне, где жили художники, которым нужен был для работы ровный свет с северной стороны; никто не мог увидеть из окна, что творится на улице. Каждая мастерская, согласно уставу, была предназначена только для одного человека — самого художника, считалось, что семья или друзья могли помешать сосредоточиться на работе.

Однажды в дверь Виктора постучался один молодой человек; он вошел и просидел целый час; у них не было общего языка, на котором они могли бы разговаривать, гость не пожелал, чтобы его чем-то угостили, он просто сидел на стуле... И из робости, а может, даже из высокомерия Виктор не показал ему свои работы. Язык жестов, к которому обычно прибегают где-нибудь в кафе, был здесь излишним.

Виктор не знал, что многие из приехавших прерывали предоставленное им время, эти драгоценные недели; они бежали, не выдерживая того, что им было здесь слишком хорошо, слишком тепло, слишком одиноко... они позорно уезжали обратно, в свои родные края.

Первое время Виктор работал в состоянии повышенной возбудимости, даже экстаза. Ранним утром, задолго до того, как появлялся нескончаемый поток автомобилей, свет горел только в его окне. Мастерская казалась ему прекрасной, словно геометрический орнамент, чистой; пустое окно, отсутствие цвета... новое абстрактное пространство. Нескончаемый шепот, поток горячего воздуха окружали его днем и ночью, словно прочная глухая стена. Стремясь к абсолютной пустоте, он спрятал все, что привез с собой из дома, спрятал в чемодан под кроватью. Ни единого раза не пришло ему в голову прогуляться в этом огромном чужом городе. Ему он был не нужен. Иногда он ел в дешевом баре на соседней улице и там же покупал материалы для работы.

В этот период лихорадочного счастья Виктор чрезвычайно легко перечеркнул время своей ранней юности. Но ему недоставало тех простых предметов, которые он знал и все время изображал: кувшин воды, коричневое блюдо... Он покупал хлеб, корнеплоды, зелень и расставлял их в мастерской, но они были ему чужды, бессодержательны, они не давали тени. Тогда он писал зимнюю равнину такой, какой помнил ее и знал. Никто и ничто не мешало ему. Работы его становились все более и более мрачными, и в конце концов лишь узкая золотая полоска солнечного заката прилегала вплотную к горизонту на его картине.

Когда у Виктора оставалось три недели, он расставил свои картины вокруг стен и стал смотреть на них. Битый час сидел он, только и делая, что, окруженный невозделанной равниной, смотрел — совсем отрешенно... Редкие люди проходили мимо по заснеженной земле, кто-то — с телегами, лошади тянули воз, но большей частью ландшафт был пуст, только чуть менее безразличен — без людей и лошадей... А еще — вечный стол с караваем хлеба, корнеплодами и кувшином для воды в мертвенном свете, выстроенные в ряд, словно на прилавке, абсолютно равнодушные к нему, и к Богу, и ко всему миру.

Виктор чувствовал удрученность, такую бездонную, что она болью отозвалась во всем его теле; он понял, что до отъезда рисовал куда лучше. Он бросился на кровать и заснул.

Ближе к вечеру Виктор проснулся и вспомнил, что произошло. Комната изменилась, она была враждебной, шипение жаркого воздуха, казалось, поднялось на целую октаву. Он сунул листы мокрой газетной бумаги меж пластинами батарей, но жестокий, беспощадный шепот продолжался. Он попытался открыть окно своим ножом, но ничего не получилось, он заплакал от злости, достал словарь, чтоб найти нужные слова, сбежал вниз по ступенькам в вестибюль и постучал ключом по стойке, настойчиво и бесцеремонно добиваясь ее внимания. И когда она явилась со своим худеньким заостренным личиком и в том же отвратительном наряде, он воскликнул:

— Воздух! Мне... воздуха! Ненавижу!

— Все так делают! — спокойно ответила она и протянула ему бланк для жалобы и письмо, прибывшее с вечерней почтой.

Виктор выскочил на улицу и принялся бродить по чужому городу. Было очень холодно. Он шел на авось все дальше и дальше, улицы становились все уже, и на каждом перекрестке он выбирал самую узкую улицу. Сумерки еще не наступили, и магазины были открыты, люди покупали и продавали, он плыл вместе с потоком людей, проходивших мимо, расходившихся и вновь соединявшихся; тротуар был скользким от гнилых овощей, пахло едой и человеческим потом, над прилавками блестели сверкающие рождественские игрушки, фигурки животных и колбасы, украшенные серебренными и золотыми цветами; длинные гирлянды разноцветных лампочек были натянуты поперек улиц, над ними высились темные фасады тесных домов — словно ущелье с небом вместо крыши. Запылал пронзительно-розовый, цвета нежных роз, солнечный закат, и вскоре улицы и дома утонули в мимолетном объятии сверхъестественно сладостной, неземной красоты, а затем землю охватила темнота, опустившаяся над крышами.

Виктор шел и плакал, но никто, казалось, не обращал на это внимания, улица совсем быстро опустела, магазины с Грохотом закрывались, лампы гасли, люди спешили к себе домой.

В конце концов горели лишь окна кафе. Он вошел в угловое кафе, там была лишь пара столиков, горел камин, возле стены были нагромождены пустые ящики, а пол покрывала тонкая древесная стружка. У прилавка стояли несколько человек, они негромко беседовали друг с другом. Виктор выпил кофе и, пройдя немного вглубь, открыл письмо.

Мой любимый сын!

Ты, быть может, думаешь, что я не знаю большие города, но это не так, я знавал их. Они чудесны и безжалостны. Теперь ты там. Г. д. х. т. Нынче ночью Дикие Звери бродили вокруг нашего дома, но беспокойства никоим образом не посеяли. Только я — единственный, кто их слышит. Никто не передавал тебе привет, и это, пожалуй, даже хорошо; ты бы мог догадаться, что они бы обрадовались, получив от тебя открытку с видами большого города. Прости меня, я, собственно говоря, ни на чем не настаиваю. Иногда я думаю о тебе, но мне не хватает тебя не больше, чем это необходимо.

Папа

P. S. Однажды ночью над равниной разразилась ужасная гроза, представь себе, прямо посреди зимы, тебе бы следовало быть здесь. Ухарство одолело меня, я не закрыл двери, я видел, как подкатывалась гроза и, раскалываясь, метала молнии, как надвигались тучи, я слышал, как гремит гром... ты только подумай о всех этих насмерть перепуганных петухах и курах!.. Это было прекрасно, все омыто начисто!

P. P. S. Но на следующую ночь Они снова вернулись назад. Не беспокойся об этом. Я хочу лишь упомянуть, что Они снова вернулись назад. (Плевать Им на грозу, ха-ха!)

Виктор приходил в это кафе каждый вечер в тот час, когда на улицах было полным-полно людей; все было уже не так красиво, как в первый раз, но улица была та же самая, она кишмя кишела народом, была переполнена цветом и запахами, голосами и лицами.

В кафе его узнавали, у него был уже свой столик, маленький круглый столик из железа, стоявший наискосок у камина. Каждый вечер он рисовал лица в большом блокноте, рисовал только черным цветом. Никого не интересовало, чем он занимался. Он нарисовал портрет молодой женщины с подведенными глазами и лица тех, кого видел в лифте и в коридорах, а потом на улице. Он отчаянно завоевывал их всех и заставлял эти лица говорить на рисунке.

В мастерскую он шел, только чтобы спать, а каждый вечер возвращался в кафе. Мало-помалу нарисованные им лица менялись, он больше не мог властвовать над ними, они лишь являлись к нему, и он дозволял им приходить и ловил их выражение в призрачной реальности, которая была ему знакома; он впускал в свои рисунки тех невидимых, что бродили вокруг дома, где жил его отец, он наделял их рогами, наделял крыльями и увенчивал коронами, точь-в-точь как ему хотелось; но самым трудным было рисовать их глаза.

«Я их караю, — думал он, — я дарю им лица, от которых им не избавиться, они пойманы. Они следовали за мной, когда я был маленьким. Волк в папином кресле! И единственное, что важно: эти рисунки хороши!»

я Однажды вечером владелец кафе подошел к Виктору и сказал:

— Здесь сидит chlochard[[2]](#footnote-2), он, кажется, говорит на том же языке, что и вы. Он пьет только вино.

И хозяин подал знак старику, ждавшему у двери. Да, старик говорил на том же языке, но желания беседовать у него не было. Он сел поближе к камину, и они вместе с Виктором пили красное вино. Виктор показал ему свои рисунки. Его гость посмотрел их, посмотрел внимательно, но не произнес ни слова. Он не захотел переночевать у Виктора, но серьезно поблагодарил его и ушел, сдержанно поклонившись.

Владелец кафе спросил:

— Вы поняли друг друга?

— Да, — ответил Виктор, — мы поняли.

Большой ошибкой с его стороны было показывать клошару рисунки. Чего он ожидал от него? Похвалы? Удивления? Неприятия? Да чего угодно, только не молчания.

Он не вернулся обратно в кафе, он продолжил работу в своей комнате, он больше не называл ее мастерской. Его персонажи становились крупнее, необузданнее, они дрались и любили, они стояли на пороге смерти, задыхались от жары или одиночества, но он не испытывал к ним никакого сострадания, он освобождался от них, это было ему необходимо.

По вечерам он выходил в город, шел куда глаза глядят, не заботясь ни о чем, и возвращался только под утро.

Он послал рисунки своему отцу.

В самый последний день он подарил ей картину «Молодая женщина с подведенными глазами». Она чуть удивленно поблагодарила его и протянула ему письмо.

Мой любимый сын!

Они получились. Ты смог изобразить моих спутников, иная действительность обрела лицо. Их ужас успокаивает меня, в моем кресле больше не сидит волк. Они славные.

Но ты мог бы, по крайней мере, послать рисунки заказным, ты ведь никогда даже самому малому не можешь научиться в практической жизни. И, само собой, ты не указал точную дату своего приезда, но я буду время от времени приходить на перрон, тогда, когда будет возможность.

Папа

Поезд остановился на общинных землях, так же внезапно, как тогда, и тихо простоял довольно долго. Он снова тронулся, и Виктор увидел на перроне своего отца, они приближались друг к другу, приближались совсем медленно.

1. Ученик закрытого учебного заведения, живущий в интернате (лат., устар.). Здесь: стипендиат. [↑](#footnote-ref-1)
2. Клошар — нищий, бедняк; бродяга (франц.). [↑](#footnote-ref-2)